

ДОМ НА РЕКЕ ВРЕМЕН

Верись, тут хорошо, несмотря на безвременье. Конечно, здесь много серого, но это не гнетет, потому что знаешь, что серый — всего лишь переход от черного к белому. И когда бредешь сквозь сумеречный туман, который с утра особенно прилипчив к ногам, несколько не огорчаешься монохромности пространства. В целом, я приняла млечную завершенность нового мира.

Конечно, она слишком близка к вечному покою. Но этот мир и не притворяется ничем иным. Так было до меня и так будет, когда я уйду. Здесь излишни мысли о том, кем ты могла быть и кем стала, и можно напрочь забыть о давящем знаке инакости, который раньше или позже неизбежно выталкивает тебя со всех привычных орбит.

Здесь у меня есть Дом. Два его этажа вмещают четыре спальни (я не сплю ни в одной из них, они так и скучают закрытыми), уютную кухню и гостиную, где я и попадаю все время, если не гуляю вдоль реки.

Вечерами я разжигаю камин, устраиваюсь с подушками на толстоворсовом, местами вытертом ковре и перелистываю книгу. Дом никогда не запирается — он ненавидит замки. У него сложный характер, как у любого старика, но отменное здоровье, и я уверена, что он проживет еще очень долго. Надеюсь, всю мою вечность.

Не знаю, кто жил в нем до меня. Дом надежно хранит тайны и ничем не выдает предыдущих постояльцев. Я не нашла ни разношенных тапочек в прихожей, ни выглядывающего из-под кресла утеряннго когда-то пояска от текучего шелкового халата. Нет даже старых, испытанных временем и кипятком чашек, внутри которых живет извечная тоска по хорошо заваренному чаю. Все вещи для моей жизни созданы совсем недавно и знают только мои прикосновения.

Дом чист, ненавязчиво пахнет чем-то свежим и салатovým. Но я умею наблюдать. Едва уловимый след сложного составного запаха специй на кухне, еще не вынесенный наружу прохладными пальцами сквозняков; тщательно заполированный ожог от кофейной чашки на столе; книга с заломом уголка вместо закладки — все это дает мне надежду, что туманный мир не финален. Нет, я не жалуясь, здесь мне более чем комфортно. Но ты ведь знаешь — я не могу не желать нового.

В послеобеденное время я подолгу сижу на веранде, наблюдая облака. Нельзя сказать, что они отличаются разнообразием. Небо вечного предзвонья: низкие кучевые облака и ни малейшего намека на просвет. Но меня уже не угнетает отсутствие солнца. Я научилась принимать покой без тяготы — наверное, потому, что перестала спешить.

В лучшие времена веранду увивал декоративный виноград — если помнишь, листья его полыхают в начале октября багровым пламенем. Я пока что не забыла, насколько это роскошно. Также здесь живет старая качалка. С возрастом она приобрела мнительность и подолгу замыкается в себе, сухо проскрипывая по ночам свои обиды. Еще она видит человека насквозь и кого попало качать не станет. На ее ротанговых узловатых коленях дремлет потертый плед с кисточками. Когда-то, во времена июля, он был изумрудным и громким, но нынче тих, как все пожилые вещи, живущие неприкаянно.

С приходом густых чернильных сумерек я ухожу в дом. Зажигаю свечи, слушаю, как, перебрасываясь искрами, в камине шепчутся саламандры, и мой покой приобретает привкус глинтвейна. Подолгу лежу без сна, глядя на дремотное пламя. Читаю, но больше думаю и вспоминаю — до тех пор, пока мир не начинает расплываться опаловыми разводами. В эти моменты я осознаю, как мне не хватает лета, отмытых до блеска звезд и тебя. Истина наиболее выпукла в момент засыпания, когда ты принадлежишь только себе, правда?

ХАРОН

Было бы глупо тешить себя иллюзией, что я жива. Раз уж я здесь, то тела моего больше не существует. Не помню, как это произошло — в мире тумана тебя полнит только то, что действительно значимо. То, что удалось сохранить в себе после встречи с Хароном.

...Я стояла на берегу. Было тускло и сыро, как в давно обещанный четверг. Туман сочился промозглой моросью. В такую погоду всего разумнее было бы валяться под толстым пледом в компании с хорошей книгой. Но выбора у меня не было, поэтому я продолжила тосковать на прежнем месте, не рискуя спускаться по раскисшему глинистому берегу ближе к реке. Зацепиться взглядом там было не за что.

Пейзаж мог подавлять разве что скудостью: седая неспешная река, грязно-серая глина под ногами и хаотично растущие вдоль берега чахлые ивы с запутавшимися в их ветвях клочьями тумана.

Возможно, именно из-за этого унижающего взгляд окоема я так обрадовалась, когда ватную тишину разорвал повторяющийся скрип. Звук приближался, я внутренне подобралась. Из молочного киселя медленно вынырнул нос лодки, а через секунду она показалась целиком. В ней сидел человек в темном плаще с брошенным на голову капюшоном. Лодка подплыла к самому берегу, он опустил весла и протянул ко мне раскрытую ладонь. Повинуясь жесту, я сошла вниз навстречу неизбежному.

У меня не оказалось не только пресловутых двух оболков, но даже карманов, из которых их можно было бы извлечь, поэтому я просто вложила в его ладонь свои пальцы. Вопреки ожиданиям, рука была теплой и сухой, а узловатые натруженные пальцы — сильными. Он на мгновение замер, но после крепко сжал руку, плотнее захватывая мою ладонь. Я по-прежнему не видела лица, голова его была полуопущена. Мне не оставалось ничего, кроме как шагнуть в лодку и сесть напротив.

Путешествие началось.

Мы плыли поперек реки в густом тумане. Весла поскрипывали в уключинах, тяжелая темная вода неохотно открывалась навстречу набрякшему дереву лопастей. Я не пыталась заговорить, признавая за ним право первого слова.

И оно прозвучало, и было оно: «Харон».

Если бы камень мог говорить, это сыпучее «Хха-а-а...» было бы его по праву, а раскатистое «...р-р...» могло бы принадлежать бурлящей от негодования закипающей воде. «...Ооон» прозвучало порывисто, как выдох ветра в неплотно закрытую форточку. После снова снизошла тишина.

Называть свое имя было глупо — я попросту не знала, продолжают ли здесь действовать привычные для того мира значения. Поэтому молчала, не рискуя задать вопрос, который меня действительно волновал. После недолгого размышления я решила, что цель путешествия вскоре увижу и так.

Миновав большую часть пути, лодка внезапно остановилась. Харон поднял руку, собираясь откинуть капюшон. Я зажмурилась, боясь увидеть то, что было страшно даже вообразить.

— Плати... — голос, казалось, звучал со всех сторон.

Не сразу осмелилась взглянуть на него. Глаза его, того редчайшего кобальтового оттенка, каким бывает июльское небо перед самой грозой, смотрели взыскательно. Черты лица словно не имели формы и текли, постоянно изменяясь.

Мой вопрос расколол тишину:

— Чем? Чем платить?

После недолгой паузы он пророкотал:

— Самым дорогим, что у тебя осталось. Воспоминаниями.

Проезд я оплатила сполна.

Когда лодка причалила к берегу, Харон достал из кармана поношенного плаща сложенный вчетверо, когда-то белый лист бумаги и протянул мне.

— Вот... возьми. Считаю, что сдача, — и усмехнулся. Эти обиходные слова и в особенности улыбка поразили меня едва ли не больше всего остального.

Когда писала тебе самое первое письмо, я не была уверена, что поняла Харона правильно. Руки сами собой сложили письмо в «самолетик». В моем положении это был единственный вариант отправки. Развенчав недавние опасения, слегка перекошенный от моего неумелого усердия ками хикоки* бойко взмыл в воздух и полетел вдоль берега на небольшой высоте. Я смотрела ему вслед, пока он не слился с туманом.

Вскоре я нашла в книге еще один чистый лист. Так и начались мои эпистолы. С этого момента мои почтовые «птицы» исправно улетают в никуда, но очень надеюсь, что к тебе.

КНИГА

Здесь у меня есть все, чтобы существовать с комфортом. Дом дарует уют — пусть и не насыщенный теплом маленьких предметов (а ведь именно эти дивные чепушинки, чарующие своей непрактичностью, делают дом живым). У меня есть удобная одежда, укрывающая от непогоды во время прогулок. Есть даже уже успевшая полюбиться фарфоровая кофейная чашка с цветочной росписью, прозрачная на просвет.

Дом поддерживает запасы кофе, сахара и специй, дрова для камина сами собой обнаруживаются на заднем дворе по мере надобности. Подобный уклад

* *Ками хикоки* (яп.); *ками* — бумага, *хикоки* — самолет.

устраивает меня как нельзя более. У меня есть даже Лес. Но предсказуемость нынешнего существования начинает угнетать. Даже переход не изменил во мне главного — стремления к поиску новых впечатлений. Хотя... в этом ограниченном поле смыслов нашелся-таки единственный объект, способный изменяться.

Не знаю, какой была бы моя жизнь здесь, если бы не книга. Одна-единственная, но стоящая сотни библиотек. В той жизни я открыла для себя магию печатного листа в шесть с половиной лет, и с тех пор не было ни одной значимой причины, которая могла бы заставить меня не читать более суток. В детстве это было похоже на запой — новая книга вызывала во мне трепет вожделения, сравнимый, наверное, с жадой алкоголика. Стоило мне открыть первую страницу, ощутить особенный запах книжки, которую никто до тебя не читал — и близкие теряли меня на длительное время.

Книга нашлась случайно, на чердаке. Там было сухо, темно и слегка запущено. Я бродила среди пустых коробок, освещая дорогу свечкой.

Книга вывалилась под ноги из очередной коробки, стоявшей косо. Я наклонилась за ней и при первом же касании ощутила живое тепло. Отзывчивое. Переплет цвета слоновой кости оказался приятен на ощупь — кожа тонкой выделки, кажется, такая называется сафьян. Несмотря на солидные размеры, она показалась мне совсем легкой. Еще одна заметная странность удивила — на обложке не было ни названия, ни имени автора, но книга производила впечатление абсолютно самодостаточной вещи.

Я не спешила открывать ее там, на чердаке. Ты же понимаешь, насколько я изголодалась по слову. Мне хотелось насладиться моментом, поэтому я зажгла свечи, в камине заплясали саламандры, и в тот вечер гостиная была насыщена прирученным светом.

Можешь ли ты вообразить мой почти священный трепет при открытии переплета — и последующее разочарование? Там ничего не было! То есть вообще ничего — все листы оказались безобразно чисты. Я лихорадочно переворачивала страницы, смотрела сквозь них на огонь свечи, надеясь, что от этого проступят знаки чьей-то тайнописи. Я даже в исступлении трясла книгу, точно пыталась вытряхнуть из нее не только буквы, но и душу. Все зря. Лощеные страницы смеялись мне в лицо. В сердцах я швырнула книгу на пол, она упала на ковер возле камина и раскрылась примерно на середине.

На странице отчетливо проступили буквы. Я не поверила своим глазам. Начертанная, иначе и не скажешь, угловатыми колкими значками надпись гласила:

«Юпитер, ты сердишься — значит, ты неправ».

И чуть ниже явно издевательская приписка:

«Лукиан, если кто не в курсе».

Вообрази? Конечно, я была ошарашена, но вскоре уже смогла оценить новые возможности. Книга открывала небывалые горизонты. Она чутко улавливала нюансы настроений и была настроена на диалог.

Вот так у меня появился компаньон. Потом я проводила долгие вечера, перечитывая давно забытые книги. Это был явный симбиоз: стоило мне подумать о когда-то прочитанном сюжете, или вспомнить название романа, или просто выгащить из сундуков памяти полузабытую цитату, как книга наливалась тяжестью сказанных кем-то слов. Она могла дать мне все — все, что я когда-либо читала, даже мельком, вскользь. Но не более. Я не могла прочесть ничего нового — лишь перечитать.

Что при этом получала книга? Трудно сказать. За пропасть перелистанных ею людей я вряд ли могла ее удивить, а наполнить новым смыслом — тем более. Наверное, она просто любит хорошую компанию и коротает со мной свою вечность под треск дров в камине и шепот саламандр.

А я на время забываю обо всем, когда открываю переплет и вдыхаю аромат книги — особенный, ее собственный, сплетенный из множества запахов тех людей, которые жили ею прежде меня. Тающая горчинка дамского парфюма, табачные ноты (воображение рисует портрет бывалого морского волка в компании с неразлучной трубкой), летящие оттенки запаха иммортелей, вытщенного из сена клеверного цветка с заплутавшей в его тонких трубочках-лепестках мелкой букашкой — все это ненадолго возвращает мне целый мир ощущений, которым когда-то была я.

ПЕРЕМЕМЫ

После ночевки в Лесу я поняла, что желание перемен стало преобладать над всеми моими мыслями. Уже ни дом с его расслабляющим покоем, ни даже Лес, который навсегда неизменен, но все-таки жив, не могли прогнать это навязчивое, сродни полуночному оголодавшему комару, состояние неудовлетворенности. По прежнему опыту я знала, что вслед за таким желанием приходит решение — но сперва нужно выносить в себе силу для его принятия.

Толчком стали изошренные измывательства книги накануне вечером. Я пыталась отвлечься, выбраться из водоворота мыслей в тихую гавань какого-нибудь немудрящего романчика, но раз за разом книга осыпала меня перлами народной мудрости. Начала с откровенной банальщины:

«Под лежащий камень вода не течет».

Выписанное хромающим почерком третьеклашки изречение, набившее оскомину еще в прежней жизни, вызывающе вторгалось в гладь вошеной страницы и, как мне показалось, даже окало с издевкой. Я фыркнула и захлопнула книгу. Выждала пару секунд.

«Времени много — мельницу заведи».

Надо же, осчастливила! Но времени действительно прорва, знать бы еще, на что оно пригодиться может... Игра положительно начинала забавлять. Немного выждав, я раскрыла книгу, заранее улыбаясь.

«Кабы все ты знал, так бы мельницы ломал».

Ч-черт, намек более чем прозрачный!

«Ум молодого, что мельница без воды».

Я начала закипать. Заладила одно и то же — «Мельница, мельница»! Где я здесь мельницу найду?

Книга с ответом не задержалась: «Без воды мельница не мелет», после чего ее страницы многозначительно пошли волнами и переливами всех возможных оттенков серого.

Река! Ну конечно же! Я захлопнула книгу, охваченная лихорадочным желанием немедленно идти из дома в темноту, во влажные объятия тумана — да куда угодно, лишь бы больше не длить эту тоскливую муку, но книга внезапно ощутимо потяжелела и налилась тревогой.

«Спасаясь от воды, попал под мельницу».

И я решила дожидаться утра. Как оказалось, не зря.

Дом всю ночь не спал. Чуть слышно шелестел занавесками, жалобно стонал половицами веранды и утробно вздыхал диванными пружинами. Он уже понял, что я приняла решение, и все его немые уговоры напрасны, поэтому просто ждал утра вместе со мной. Мне было непросто оставить его в унылом одиночестве этого бесконечного существования, но я утешила себя, что в доме скоро появится новый постоялец, и искренне пожелала, чтобы он оказался более домашним, нежели я. Дом в ответ сердито фыркнул угольком в камине и затих.

Как только темный сумрак за окном сменился молочной пеленой, я начала сбрызгивать брата с собой что-либо, кроме книги и авторучки, в которой никогда не заканчивались чернила, не стала. К этому времени уже поняла, что потребность в вещах была всего лишь еще одной привычкой другобережной жизни, от которой я сама не торопилась избавляться. Как бы там ни было, но я поблагодарила неизвестных опекунов за удобную походную куртку и аккуратный рюкзак, в котором разместился мой нехитрый скарб.

Совру, если скажу, что мне не было страшно. Но уже накрывшее состояние неотвратимости не позволяло колебаться, и я, прощально обласкав взглядом дом, вышла, с глухим стуком затворив за собой дверь. Качалка неодобрительно проскрипела мне вслед что-то ворчливое, но я предпочла считать это пожеланием удачи. Старики часто маскируют любовь за брюзжанием, потому что боятся за нас, таких упрямых и не ценящих простого счастья домашнего уюта и покоя.

Я быстро дошла до развилки и даже задержалась там в раздумье. Лес не ждал меня, как не ждал и прежде, но я знала, что примет, если решу остаться. Понимала, что еще не открыла всех его возможностей, но чувство дороги уже звало меня, и я отбросила колебания. Словно уловив мои мысли, клубы молочного пара сгустились и скрыли тропинку, уводящую в Лес.

Долгую дорогу вдоль реки в компании унылого тумана я прожила как маленькую вечность, в которой не было ничего, кроме размеренной безостановочной ходьбы и отдаленного эха от плесков весел по воде. Сложно сказать, сколько продолжался переход — я окончательно утратила чувство времени.

В установившемся безвремье ночь сменяла туманные сумерки, не согласовывая свое намерение с небесными светилами. Между нами, я сильно сомневаюсь, что они тут вообще есть. Иногда день тянулся неимоверно долго — настолько, что я начинала скучать по грязному темно-серому плащу ночи, который хоть как-то видоизменял мир. Но порой выдавались такие ночи, за которые, казалось, можно было прожить не одну жизнь.

Шла и вспоминала — о смешном и грустном, о болезненном и дававшем силу для подъема в небо. И даже смеялась, оживив в памяти слова, которыми радовали меня дети в том возрасте, когда любой человек еще свободен и открыт даже для невозможного. Когда я устала уже и от воспоминаний, в стене тумана, метрах в сорока впереди, затеплился просвет. Это меня воодушевило, и оставшееся расстояние я буквально пролетела.

И вылетела — из клубов мокряди в пусть пасмурный, но заметно иной мир. Здесь было такое же угрюмое небо, но облака не тянулись с тягостным достоинством английского аристократа, а клубились, видоизменяясь и наполняя друг на друга, будто конкурировали за место под отсутствующим солнцем. Туман уныло дышал за моей спиной, словно осознавая, что дальше хода ему нет. Из него вырывались косматые шарики, похожие на «парашютики» одуванчика (видимо, это и были семена), катились по земле, пытаясь зацепиться, прорасти в почву и укорениться в этом мире. Но ветер сводил на нет все попытки, сдувая семена обратно.

Впереди виднелось капитальное сооружение высотой в двухэтажный дом.

МЕЛЬНИЦА

Наверное, сходное чувство испытал Робинзон Крузо, увидев индейские пироги на берегу острова, который считал необитаемым. Да, мне было страшно, и, в отличие от Робинзона, моя надежная крепость осталась очень далеко. Пожалуй, я бы даже не смогла убежать обратно в туман, потому что очень устала.

Это не была обычная физическая усталость, вызванная работой или длительной пешей прогулкой. Здесь я утомлялась иначе. После прогулок вдоль реки всякий раз меня охватывало состояние безучастности, которое проходило, стоило лишь окунуться в привычный уют дома.

Я заметила, что Лес тоже восстанавливал меня, но по-своему — скорее, наполнял чувством протеста, бунтарским духом, пробуждая какое-то первобытное начало. Но этот переход был самым длинным, я устала больше, чем когда-либо, и сейчас, перед лицом возможной опасности, осознала это.

Состояние, в котором воспринимаешь происходящее словно через три слоя пуховой ваты, накрыло меня. Но делать нечего, у меня не было других вариантов, кроме движения вперед. И я пошла к постройке — через силу, стараясь не обращать внимания на заполняющую меня апатию.

Чем ближе я подходила к приземистому, крытому дранкой зданию из массивных каменных кубов серого цвета, тем больше нарастал ровный размеренный шум большой массы воды. Река, другого берега которой я никогда не видела (сначала думала, что из-за тумана, но и, выйдя в иное пространство, я не обнаружила ничего, кроме протяженного вдаль полотна воды грязно-серого цвета), казалось, немного ускорила свое течение. Возможно, где-то поблизости заужалось русло — хотя это могли быть и капризы реки. Я уже отвыкла чему-либо удивляться в мире, вобравшем в себя несчетное множество людских мыслей, чувств и воспоминаний. Здесь возможно абсолютно все, и это, похоже, единственное правило, которое работает.

Вскоре к шуму воды добавились равномерные шлепки, нечеткий гул, и я уже почти не сомневалась, что это мельница. Я приближалась к ней, загодя приняв все, что может произойти. В конце концов, хуже, чем есть, уже не будет. Последние метры я прошла, почти не помня себя.

Дальнейшее запомнилось смутно, отрывками: высокая, тяжелая, с огромным металлическим кольцом вместо ручки дверь, неимоверные усилия, приложенные мною для ее открытия, и густой полумрак задверного пространства, в которое я провалилась уже без проблесков мысли.

— Молоде-ец девка, соображаешь... Погуляла бы еще возле реки, так, глядишь, и не довелось бы разговоры разговаривать... Вовремя ты... — голос, глухой и рокочущий одновременно, звал, вытаскивал из воронки, выводил из темноты.

Голова моя лежала в чьих-то широких теплых ладонях, окружающий мир покачивался и плыл, и все это вместе было удивительно уютно.

— Э-э! Не спи! Спать тебе давно ни к чему, а сейчас и подавно... Давай-ка, поднимайся, нечего на полу валяться, у меня, поди, все просто, без ковров-диванов... — чьи-то сильные руки играючи подхватили меня и одним рывком, легко, словно тряпичную куклу, подняли вверх.

Я открыла глаза. Первое, что увидела, были большой нос «картошкой» и пара внимательных серо-голубых глаз. Широкоплечий, крепко сбитый мужчина неопределенного возраста, в который входят многие представители сильной половины человечества лет после сорока, испытующе смотрел на меня. Кажется, увиденным он остался доволен, поскольку его широкое скуластое лицо растянулось в усмешке и морщинки-лучики осыпались от глаз. Я слабо улыбнулась в ответ.

— Ну, кажись, отошла... Дуреха, кто же так долго через туман да к тому же вдоль берега ходит? Тебе же рано еще! — внезапно легкая тень пробежала по его лицу, и он осекся на полуслове, не вдаваясь в подробности.

— Пойдем-ка в дом. Нечего в амбаре отираться, я тебя сейчас устрою поудобнее, придешь в себя, а потом и поговорим.

Придерживая крепкой ладонью под локоть, он повел меня через длинный сумеречный амбар, мимо деревянных рундуков, стоящих вдоль стены. Окружающее

пространство пахло странно: сухоцветами, высушенными между страниц книги, золой, первым снегом, предгрозовым озоном, морозным и солнечным февральским утром, а также многими другими вещами и событиями, которые мне не удалось распознать. Это смешение ароматов отчего-то будило тревогу, которая, видимо, передалась и моему спутнику. Он крепче сжал мой локоть и ускорил шаг. Подчиняясь ему, я тоже пошла быстрее.

Тяжелая, темного дерева дверь отворилась перед нами, не скрипнув, и, поощряемая моим визави, я вошла в большую, хорошо освещенную комнату. Конечно, значительную часть света давали широкие окна, прикрытые легкими занавесками, но ощущение просыпанных в воздухе солнечных лучей я не могла объяснить ничем. Веселые полосатые половики разбегались от порога по всей комнате, и, глядя на них, хотелось смеяться. Это были первые яркие краски, встреченные мной в этом мире.

— Ну, дева, осматривайся. Обживатьсь не приглашаю, у нас дороги разные, но погостить можешь сколь душе угодно. Погоди, чайку споровю — сам-то не пью, мне без надобности, но для гостей держу. Да, зовут меня просто — Мельник, — вероятно, уловив недоумение в моих глазах, он ухмыльнулся и добавил: — Имя тоже есть, не думай чего такого... Да только за ту пропасть воды, что через мои ладони протекла, любое имя надоест. Так что Мельник, как есть Мельник, и ничего боле.

Меня вполне устраивал и просто Мельник, тем более что ценность имени собственного вряд ли простиралась далеко за черту. Он вышел в другую комнату и уютно гремел там посудой, бормоча под нос, как это бывает в привычке у многих людей, живущих одиноко. Я сидела на тесаной деревянной лавке под окном и наслаждалась покоем. Первый шаг в неизвестное дался далеко не так просто, как казалось сначала. Но я нашла мельницу и, что много важнее, Мельника, а значит, смогу получить ответы и прояснить свое положение.

ОТВЕТЫ

Чай у Мельника был хорош. Заваренный по всем правилам, в меру горячий, налитый в большую, расписанную красными горошинами чашку, он радовал насыщенным цветом и ароматами лесных трав. Отчетливая легкая горчинка зверобоя, душистая нотка земляничных листьев, звучащая лимонным «ля» кислица. Я еще не успела толком удивиться, откуда здесь могли взяться травы, как получила ответ:

— Из Леса, дева, из Леса. В Лесу не только гулять нужно, но и тропы искать. Лес-то, он непростой у нас, а ты как думала... Из него ходы-выходы в разные миры есть, только открываются не сразу. Да и не каждому, конечно. Ты бы, может, и набрела, когда б не такая торопыга уродилась — все-то тебе вынь да положь, да сию минуту, а то невтерпеж совсем! Ну а я человек обстоятельный, мне спешить некуда, вечность — свидетель. Вот и хожу по мирам, присматриваюсь и полезности всякие домой волоку...

Он усмехнулся каким-то своим мыслям, после провел короткопалой ладонью по губам, стирая улыбку. Вторая его рука потянулась через стол и накрыла кончики моих пальцев. Я попыталась отдернуть руку. Ты же помнишь, как я не любила чужих прикосновений прежде, да и сейчас мало что изменилось. Но Мельник оказался быстрее, и ладонь моя очутилась в прочном захвате сильных пальцев. Я впервые взглянула ему прямо в глаза, и увиденное мне не понравилось. Твердый взгляд человека, знающего, что ему необходимо и не настроенного на компромиссы. Наверно, он уловил мое состояние, потому что слегка нахмурился и после секундной паузы отвел взгляд. Вслед за этим, словно солнышко из-за тучки, проявился прежний балагур-скоморошник:

— Ну что ты все трепыхаешься, птичка-невеличка? До сих пор мечтаешь, что за иным порогом и бытие по другим законам строится? Смешная ты девка, ага... Он так и говорил — идеалистка. Теперь сам вижу — такая я есть. Оно и неплохо, идеалисты у нас в цене... Света в вас много, умеете сохранять... Ну что, долго ты в молчанку играть будешь? Ты сюда зачем шла, за ответами, небось? Так задавай вопросы. Нет вопросов, нет ответов. Только не за так я с тобой тут баить буду, сама понимаешь.

Он освободил мою ладонь и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Метаморфозы, происходящие с ним, завораживали. Сейчас я видела целеустремленного и жесткого мужчину, не знающего пощады к оппоненту. Не хватало лишь делового костюма и очков в тонкой титановой оправе — и готов образ бизнесмена, ведущего важные переговоры. Он словно даже подтянулся, стал выше ростом и стройнее. Но изменения коснулись не только внешнего облика, и я убедилась в этом, когда он снова заговорил:

— Ну, милочка, когда же мы начнем договариваться? Этот мир, который вы упорно продолжаете считать финальным, имеет неисчислимое множество выходов. Даже я, существующий здесь, как и Харон, изначально, не могу назвать точное количество вариантов, да и не в этом суть. Каждый получает то, что ожидает. К чему стремитесь вы, я примерно представляю. Это банально, как и все, что имеет отношение к личностям, приходящим из вашего мира. Но мне импонирует ваше упорство, которое достаточно редко встречается среди здешней публики. Полагаю, я в состоянии многое разъяснить — при условии встречных шагов с вашей стороны.

Страхнув охватившее меня оцепенение, я собралась с мыслями:

— Цена, как я поняла из ваших многочисленных оговорок, — свет, не так ли? Хорошо... Допустим, я плачу и получаю ответы — что потом происходит со мной? Если свет — часть меня, насколько я изменюсь, потеряв его?

Мельник скептически вздернул бровь:

— Это вопрос? Однако, сударыня, вы непозволительно расточительны... Ладно. Ну... станете только тучочку тусклее, и всего лишь. И да... Таки сегодня я благодушествовую и могу себе позволить роскошь немного побыть галантным... В конце концов, общество красивой дамы предрасполагает к приятному диалогу. Кстати... Вас не забавляет, что мы продолжаем оставаться телесными в мире, где логичнее быть бесплотными?

Я усмехнулась:

— Не утруждайтесь, уважаемый, уж на такую малость моей сообразительности хватило. Полагаю, я вижу вас и себя в телесном облике лишь по той причине, что на данном этапе так удобнее для меня. Привычнее пока что, если хотите. И я вполне допускаю, что вы в обычном состоянии можете выглядеть как скопление кипящих газов. Или как сверхновая за секунду до взрыва. Или же ветер, раздувающий паруса. Да что угодно — здесь же нет никаких ограничений? И даже если я окажусь неправа, это ничего не изменит по существу. Я уже научилась принимать, что не все вопросы стоят усилий, затраченных на получение ответов. Некоторых вещей и явлений лучше не касаться дрожащими пальчиками маленького, но неумного любопытства, ибо чревато...

Он потер кончик носа, как это рефлекторно делает человек, готовящийся схитрить:

— Bravo! Вы быстро учитесь, дорогая... Приятно иметь с вами дело. Но не будем напрасно проматывать ваш свет, поскольку вы уже тратите его, вступив со мной в диалог.

Мельник пресек протесты, приложив пальцы к моим губам:

— Здесь я хозяйин и вправе менять условия игры по своему усмотрению. Мне нужен свет, он у вас есть, и было бы глупо не использовать такой шанс. Могу уверить лишь в одном — я не намерен причинять вам вред, поэтому мои ответы будут максимально емкими. Ну как, по рукам?

И я согласилась.

Он сдержал слово. Я узнала куда больше, чем рассчитывала. Поняла наконец-то, почему так отвращала от себя река: она просто выпивала мои силы и, постепенно растворяя в себе, делала частью своих темных вод. Недаром я чувствовала, что она отчасти разумна — да и как могло быть иначе, ведь количество сознаний, которые она приняла, не поддавалось исчислению.

Кстати, и туман оказался далеко не так безобиден, как мне думалось. Мельник сказал, что я не смогу вернуться, даже если передумаю и остро затоскую по теплому уюту. Дом, способный восстанавливать, меня уже не примет, и я буду блуждать в тумане до тех пор, пока не стану частью его морока. В нем оболочки, потерявшие и свет, и воспоминания, и цель, постепенно теряют последние нити связи со своей сутью, после чего окончательно сливаются с туманом. Для чего нужна была мельница, я толком не поняла. Мельник лишь вскользь обронил фразу насчет пустых оболочек, из которых мука с горечью выходит.

Я сидела в глубокой задумчивости, пытаюсь хоть как-то разобраться. Многое в самом деле прояснилось, но на главный вопрос я так и не получила ответа. Где искать тебя, и что меня ждет дальше, если я продолжу путь? Предвосхищая мой вопрос, Мельник коротко кашлянул в кулак и неторопливо продолжил:

— Где искать того, за кем ты пришла даже к черту на кулички, — пардон, неудачно каламбурую, — я не знаю. Мир бесконечен, в нем есть выходы в самые невообразимые места, времена и события. Кажется, я помню его, колоритный такой персонаж, с ним даже интересно было некоторое время. Он ведь ушел немного раньше тебя, так?

Я кивнула:

— Наверное... Почему-то все, что относится к его... уходу, вспоминается смутно.

— «Почему-то...», — передразнил меня Мельник. — Харон, знать, не за спасибо перевозил, сама соображай-то! Ну а раз сюда пришел раньше, так и ушел дальше. А вот куда — сама думай, у вас, неутомонных, такой кавардак в голове, что сам черт ногу сломит!

Он снова вернулся к прежнему облику, спрятав за деланным добродушием бескомпромиссную суть дельца. Впрочем, ненадолго. По затянувшейся паузе я поняла, что ответов больше не будет, и, вынуждаемая пристальным взглядом, подняла на него глаза. Мельник улыбался — пристрастно и хищно, и мое секундное замешательство, не ускользнувшее от паутины его взгляда, похоже, доставило ему нескрываемое удовольствие. Он встал со стула и, разом перемахнув разделявшее нас расстояние, остановился рядом, протягивая руку. Не имея выбора, я вложила пальцы в широкую ладонь и легко поднялась. Мы стояли почти вровень, он продолжал буровить меня взглядом. После, проведя по левой стороне лица, сказал просто и безжалостно: «Плати...»

Не хочу называть это поцелуем, потому что невозможно совершать такое, прежде всегда волнующее действие, с пустотой: жадной, яростной, алчущей пищи. Но каким же еще словом обозначить соприкосновение наших губ, после которого я разом утратила ощущение себя? В совершаемом им ритуале не было ничего трепетного, страстного, вызывающего желание — вовсе нет. Но я не могла оттолкнуть его, не могла прекратить — потому что все, чего я хотела, это чтобы поцелуй продолжался.

Он оторвался от меня и сразу подхватил под мышки, когда я едва не упала от сильнейшего головокружения.

— Ничего-ничего, сейчас пройдет. Света в тебе еще много осталось, не упадешь, когда через длинную ночь топтать придется. Отдохни, так и быть, поспи перед дорогой... — голос его отдалялся, таял где-то вдаль. Спасительное покрывало темноты укрыло меня от падения в пропасть.

ГАРПИ

Возвращение было резким, как пощечина. Темные воды забытья, до этого момента мерно качавшие меня в ладонях, разом забурили водоворотами и потянули на дно в компании с невесть откуда взявшимся громадным сомом. Он уставил на меня долгий снулый взгляд ко всему безразличной рыбины, после чего разинул широченную пасть и заорал благим матом: «Вста-а-а-вай, девка!!! Все жданки, поди, друг сердешный поел, тебя дожидаячись!» Я вздрогнула, замахала руками, отбиваясь от наваждения и, оттолкнувшись от дна, всплыла на поверхность зеркала.

Физиономия Мельника маячила совсем близко, он тормозил меня за плечо здоровенной лапицей и бурчал: «Эк тебя разобрало-то, а с виду крепкая... Ну, давай ужо, возвращайся, пора тебе в путь, ежели до темноты развилку пройти хочешь...»

Я разлепила пересохшие губы и хрипло пробормотала: «Какую еще... развилку?»

Он разом отпрянул вверх, подобрался и усталился на меня. Похоже, увиденное его вполне удовлетворило, поскольку после секундной паузы он кашлянул в кулак, ухмыльнулся и пробухтел: «Какую-какую... самую обыкновенную, на вилку двузубую похожую. Сама увидишь, ежели дальше не проваландаешься. Негоже, когда ночь до выбора накрывает — вовек на дорогу свою не выйдешь. Да и дурища крылатая препоны чинить начнет, так что поторопись, мой тебе совет».

Ничего не понимая, я медленно села. В голове негромко, фоном, жужжал пчелиный улей, и это звучало бы почти умиротворяюще, если бы иногда одна из пчел не начинала истерически метаться и биться в черепную коробку, при этом выводя свою партию на самые высокие ноты. Я энергично помотала головой, улей взвыл напоследок на полную громкость и в одночасье умер с достоинством римского патриция.

Мельник копошился в дальнем углу комнаты, выискивая что-то в чреве огромного потертого сундука, и деланно не обращал на меня внимания, но я ловила его напряженное ожидание. Что ж, я в самом деле подзадержалась. Перебарывая вязкую слабость, встала на ноги и осмотрелась по сторонам в поисках своих вещей. Рюкзак обнаружился у самого порога, а вот куртки нигде не было.

— Не это потеряла, дева? — Мельник, ухмыляясь уже привычной кривой усмешкой, протянул мне объемистый сверток. Я приняла его и, развернув куртку, обнаружила книгу. Надо же, попав на мельницу, я ни разу не вспомнила о ней. Книга слегка светилась и ощутимо тяжелила руки, но под нескрываемо заинтересованным взглядом Мельника я не рискнула заглядывать в нее.

— Слыхал я про эту вещичку занятную, но ни разу не видел, чтоб она с кем из дома в путешествие наладилась... Домоседка она, известное дело, а тут, поди вот, налегке да в рюкзаке. Чем ты ее приворожила, дева?

— Ничем не ворожила. Просто взяла и пошла. Не знала, что она может не захотеть.

— В том-то и дело, что книга не каждому найти себя позволит, да и не каждый, кто найдет, читать сможет, а уж чтобы из дома уйти... Не простая ты, кажись, девка, а ведающая. Только саму себя до сих пор толком слышать не научилась, вот беда-то... Правда, беда поправимая — ты, может, еще чего спросить хочешь, а? Пока можно, пока не ушла?

Я в упор посмотрела на Мельника. Его лицо выражало бы полную безмятежность, если бы не цепкий, настороженный взгляд, не упускавший ни единой мелочи. Но это, уже знакомое мне терпеливое паучье ожидание, таящееся в сети морщинок вокруг его глаз, больше не могло поработить мою волю. Я отрицательно мотнула головой, отвергая его предложение. Книга приветственно засветилась бледной бирюзой и погасла. Не медля более, я уложила свой нехитрый скарб, надела куртку и, закинув рюкзак на правое плечо, решительно двинулась к двери. Мельник за моей спиной выдохнул с легкой укоризной:

— Ну, как знаешь... Вольному — воля... Прощевай, что ли, дева.

Не оборачиваясь, уже у самого порога, я сухо обронила:

— Прощай. Спасибо... за гостеприимство.

Дверь с противным скрипом раскрылась, выпуская меня в душную полутьму амбара. В нем пахло по-прежнему — необъяснимо и тревожно — но теперь я уже знала, что это запах мучной пыли, остающейся после перемалывания прожитых судеб. Последние метры до выхода я почти бежала — желание поскорее покинуть мельницу подстегивало меня.

Мир встретил тяжелым низким небом и надвигающимися сумерками. Ветер разгулялся не на шутку, рвал в клочья серые тучи, но им на смену тут же клубились новые, еще более плотные, и в небе по-прежнему не было ни единого просвета. Я вздохнула и поежилась, вспоминая горницу Мельника, напоенную июньским солнцем. Однако трезвая мысль о том, откуда и какой ценой добыт этот свет, мгновенно вернула меня на землю. С ожесточением припечатав подошвой ботинка тяжелую амбарную дверь, я шагнула в очередную неизвестность.

Путь до развилки прошел на удивление легко — то ли я и вправду смогла восстановиться во время сна у Мельника, то ли уже начала принаравливаться к здешним реалиям, и река теперь не так изматывала меня. Когда впереди, метрах в двухстах, обнаружился огромный валун, лежащий прямо на дороге, я даже обрадовалась. Он привлекал внимание своим необычным видом. На широком каплевидном основании возвышалась еще одна небольшая капля, стоящая вертикально. Подойдя совсем близко, я поняла, что это образование больше всего похоже на сидящего человека, который подобрал ноги и съезился в попытке согреться.

Камень лежал основательно, перекрывая дорогу и простираясь в ширину метров на пять от берега реки. Я попыталась обойти его, но невесть откуда взявшееся поле не пропускало. С одной стороны меня ограничивал берег, с другой — прозрачная, но непреодолимая стена, за которой я хорошо видела, что дорога разделяется на два рукава, один из которых продолжает идти вдоль берега, а второй уходит резко налево. Развилка!

— Кхх... С соображением у тебя туговато, кажись... — резкий женский голос заставил меня вздрогнуть. Я подняла голову и испугалась еще больше — у верхней части валуна прорезались огромные глазищи, которые как будто даже светились в полутьме.

— Ну, че уставилась?? Совсем деревня темная, что ль? У-у-у, с-сельпо на прогулке! Откуда вас таких тока собирают, диву даюсь! — существо встрепенулось, расправляя большие крылья, и окончательно утратило иллюзию окаменелости. Прodelав поочередно несколько неуклюжих движений вытянутыми в стороны лапами, грубиянка слетела с камня и уселась передо мной прямо на землю.

Теперь я имела возможность рассмотреть ее как следует. Кажется, передо мной была гарпия. В высоту она оказалась почти вполовину ниже меня — за счет коротких птичьих лап с ухватистыми толстыми пальцами, покрытыми чешуйками и оснащенными мощными когтями. При взгляде на них мне стало как-то неуютно.

Но преимущество в росте она явно не желала признавать, поскольку выражение ее милого девичьего личика демонстрировало явное пренебрежение ко мне. Пухлые губы кривились в сардонической усмешке, а откровенно издевательский прищур больших изумрудных глаз сводил на нет вероятность дружеской беседы. Она была красива — той свежей тонкой красотой полураскрытого бутона юности. Длинные вьющиеся волосы могли бы стать предметом зависти для многих женщин. Но вот манерами и правилами приличия она себя не обременяла и производила впечатление довольно-таки склочной особы.

— Долго таращиться будешь, чудо пришибленное? Че, пока по бережку гуляла, последний ум растеряла? Или Мельник-добродей увлекся? Ну, гарпия я, гарпия! Можешь кратко — Гарпи, если чего спросить наконец-то надумаешь. Хотя... дождешься от тебя, как же! — голос ее, высокий, с визгливыми щенячьими нотками, казался, вбуравливался прямо в мозг.

Я невольно поморщилась, что не осталось незамеченным.

— Морщится она, ты гляди! Голос мой не нравится? Так я ж не ангельский Серафим, чтоб всем нравиться! Я тут для дела приставлена, чтоб ты знала, а не слух эстеткам недоделанным убажывать! И вообще — достали меня все, уволюсь, уволюсь, сил моих больше нет!

Гарпия легко вспорхнула и уселась на нижнюю ветку невысокого кривого дерева, стоящего метрах в пяти от меня, уравнивая тем самым неравенство в росте. Я была вынуждена подойти к ней. Как ни крути, а прояснить ситуацию могла только эта несносная особа.

— Гарпи, миленькая... Ты не сердись, я устала и... ну, не сдержалась, прости. У тебя прекрасный голос, наверное, ты просто на ветру продрогла. Расскажи, что я должна делать? Как можно обойти камень, и для чего дорога разделяется?

Гарпия, насупившись, смотрела на меня исподлобья, всего своим видом напоминая обиженного ребенка, обойденного вниманием Деда Мороза на детсадовском утреннике. Протяжно вздохнув, она поджала к животу левую лапу, спрятав пальцы в тепло перьев, и я впервые почувствовала ей.

Служба при камне действительно не сахар: сидеть на развилке неотлучно, на пронизывающем ветру, выжидая незадачливых путешественников с одной-единственной целью — выдать дальнейшие инструкции. Поневоле глумиться начнешь, чего уж. Я осторожно протянула руку и легко погладила ее по крылу. Гарпия, не ожидавшая подобного, враз приобрела растерянный вид и стала окончательно похожа на потерявшегося в гипермаркете ребенка.

— Давно ты тут? В смысле, время твоей службы можно как-то измерить? Я пока не разобралась, как устроено ваше пространство... — я не пыталась завести разговор на нейтральные темы с целью заболтать ее, просто спросила, повинувшись неожиданному импульсу.

— Я-то? — Гарпи переменяла лапы, на этот раз упрятав в теплый подбрюшек правую. — Недавно, я ж молодая совсем, двадцать северных перелетов всего, как из яйца вылупилась. И тут не очень долго сижу, да и смена скоро будет. Служба ничего так, скука тока жуткая, а что ветер, так ты не смотри — мы привычные к холоду, на моей родине это даже птенцу не угроза. Там, где родня моя, на крайнем севере мира, даже река сверху замерзает и течет подо льдом... — внезапно гарпия осеклась на полуслове, точно вспомнила о каком-то важном запрете и резко пере-

менилась — мимолетное выражение легкой печали, возникшее на ее лице при воспоминаниях о доме, сменилось подозрительным прищуром и поджатыми губами.

— Ишь ты, хитрая какая, — разболтать меня вздумала?! Не выйдет! Не на ту напала! Давай, спрашивай, как по обряду положено, и кагись отсюда на все четыре стороны, чтоб тебе ни дна, ни покрывки!

Нет, она была положительно невозможна! Оставив никчемные попытки наладить контакт с этим неуживчивым существом, я отбросила в сторону дипломатию и брякнула в сердцах:

— Какой еще, к гарпиям мороженым, обряд? Давай, вещай чушь свою да открывай дорогу, надоела мне уже эта волынка!

Гарпия встрепенулась всем телом, словно воробей после песочной ванны.

— О как заговорила, антилигентка драная! Все вы такие, чуть тронь — сразу лоск слетает! А с виду порядочная, тока очков не хватает!

Несмотря на набирающую гневные обертоны тираду, Гарпи была так забавна, что я не выдержала и от души расхохоталась. Неожиданно она присоединилась ко мне, вплетая в мой громкий хохот тоненькие щенячьи нотки. Смеялись мы долго и со вкусом, глядя друг на друга сквозь выступившие на глазах слезы. Воистину, это был гомерический гогот, разом снявший между нами все преграды.

Отдышавшись, гарпия сказала просто и без выкрутасов:

— Короче, так, подруга. Ночь уже на подходе, а ты еще ничего не знаешь. Развилка здесь, как в ваших сказках: прямо пойдешь — цела будешь, да себя позабудешь, направо пойдешь — голову потеряешь, налево пойдешь — ну, налево, оно всего интереснее, да только погоришь на горяченьком. Выбирай, времени до темноты мало.

И я выбрала.

ДОРОГА

Выбор меняет нас. Выбор меняет вселенную. Выбор запускает цепь событий. ...И я выбрала. Помнишь?

Со времени последнего письма утекло много воды. Я безвозвратно изменилась. Дорога превращает человека в концентрат, выжимает из него водянистую сентиментальность, дорога прессует мысли и чувства в камень одного-единственного желания. Дойти. До. Цели.

Не знаю, что вело меня наперекор неутихающему ветру под этим тяжелым, низким, безнадежным небом. Не помню, на каком этапе я превратилась в шагающий механизм, весь смысл существования которого заключался в ритмичном переставлении ног. Это превращение было неизбежно, поскольку даже в другом-бережном мире действовал принцип возвратности. За все надо платить. «*Agere sequitur esse*», — сказала бы книга, если бы не впала в длительную летаргию. Но с ней ли, без нее, а «действие вытекает из бытия», некоторые истины не заканчиваются и здесь.

Какую-то часть пути меня вела любовь к тебе, потом ее сменила память о любви к тебе, и много позже на смену им обоим пришла злость, бурлящая красным и горячим. На этом «топливе» я продвигалась наиболее эффективно, правда, недолго.

Когда закончились чувства, дорога потребовала мыслей. Я думала так много и о многом, что даже образы слов истерлись в песок в моей голове. Ртутные воды реки текли все так же медленно, тучи клубились с постылым постоянством, ветер рвал с плеч куртку, но книга, прикорнув за пазухой, хранила молчание.

Однообразие ландшафта не единожды заставляло меня обмирать от подозрения, что я иду на одном месте, но волевым решением эти мысли отметались как панические.

В отсутствие времени невозможно определить, сколько ты прошел, в отсутствие ориентиров сложно понять, верно ли выбранное направление. Да, здесь не решится задачка с путешественником, вышедшим из пункта А в пункт Б, поскольку в условии нет ни времени, ни расстояния, а конечный пункт называется «неизвестность». Так что решебники бесполезны, мой далекий и почти забытый друг. Подсказок больше не будет.

...Не имеет значения, как я умирала в каждом из вероятных миров, порожденных моим выбором: тонула ли в густой волне штормящего моря, наблюдая угасающим зрением водоворот из пузырьков воздуха, водорослей и мелких камешков, или же мучительно отходила в светлой палате хосписа, цепляясь иссохшими пальцами за пододеяльник и пытаюсь выкашлять остатками легких самое важное слово, для которого, как обычно, не хватило жизни. Впрочем, я могла уходить тихо и благообразно, лежа в собственной кровати, в окружении домочадцев, надежно спрятанная от реальности в кокон старческого слабоумия, — это ровным счетом ничего не меняет, потому что я и все варианты меня уже здесь, на другом берегу, и мы, наконец-то собравшись вместе, идем в никуда по нескончаемой дороге, и небо ложится на плечи и давит, давит, и ветер выстуживает остатки чувств, и песок мыслей, наполняющий мою голову, пересыпается и шуршит, и нет у этой попытки ни начала, ни конца, как нет времени, расстояния и надежды.

...Но я не прощаюсь.

КАМЕНЬ

Она сидела прямо на дороге. Глаза ее были печальны, длинный клюв едва не касался земли, а тщедушная сгорбленная фигурка выражала собой безграничную скорбь. Сухие птичьи лапы — длинные, покрытые плотными ороговевшими чешуйками — ритмично двигались на манер маятника, рисуя в седой холодной пыли кривой полукруг. Она изредка взмахивала поревевшими слабыми крыльями, сводя их вместе, словно ладони в хлопке, но сразу же безвольно роняла в придорожную серость, точно это выражение недоумения или досады отнимало у нее последние силы.

— Здравствуй, — я остановилась рядом с ней и присела на корточки. Она подняла на меня измученный взгляд и коротко кивнула маленькой головкой, точно клюнула:

— Ааа... Ты... Наконец-то. Думала, уже не дождусь. Как добралась?

— Да так... По-всякому. Но пришла же.

— Пришла-а. Хорошо, что пришла. Плохо мне, сил нет ждать. Отпусти меня, я в туман хочу. Устала.

— Как это — «отпусти»? Разве я тебе хозяйка?

Птица находилась, втянула голову в плечи, затем, блеснув на меня темным выпуклым глазом, проскрипела:

— Конечно, не хозяйка. Ты самой себе никогда хозяйкой не была, известное дело. Но отпустить меня только ты можешь.

— Но как?!

— «Как, как?» — прокаркала совесть и зашлась в сухом кашле. После, мотнув головой, обронила с клюва комок серой пыли. — Тьфу... Надышалась я тут дряни на вечность вперед. Да и грешки твои мелкие, видишь, до сих пор душат,

не забываются... Отпусти. Сними с меня камень и отпусти, сколько же мне еще за тебя маяться?

Только после этих слов я отчетливо увидела овальный камень размером со спеленутого младенца. Он прижимал ее к земле ровно посередине — оттого-то ее лапы, чтобы окончательно не потерять чувствительность, и чертили в пыли неловкие кривые, а крылья время от времени взмывали вверх в надежде вспомнить чувство полета. Камень пульсировал, то проявляясь четче и даже на вид обретая больший вес, то теряя контуры и размываясь.

— Ага... Разглядела. Твой, твой, не сомневайся. Забирай, я сохранила его для тебя. Теплый, потрогай.

Я опасливо протянула руку и прикоснулась. И тут же отдернула ладонь с криком боли:

— Ч-черт! Жжется же!

Птица устало повела головой и дернула кадыком:

— Не черт это, дурочка. Это грех. Твой грех. Горячий, да. Крови в нем много потому что. А что тяжелый... Шутка ли, целый мир... Так-то вот... птичка. Бери, что ли?

— А если не возьму, что будет? Ты же мне ничего не сделаешь!

— Не сделаю. Не возьмешь — сдохну скоро в этой пыли... Я-то сдохну, но камень никуда не уйдет, и тебе дороги не будет. Замкнется твоя дорога, закольцуется. Куда ни пойдешь, а к нему вернешься. Сама решиай.

Я взяла камень. Он и прежде был при мне, всю мою жизнь, но нести его было проще. Теперь же правда легла в мои руки во всей своей неприглядности и жгла огнем ладони, и тяжелела все больше с каждой секундой.

Упав на колени в серую пыль, я завывала. Совесть, отряхнув клювом блеклые перышки, неожиданно легко вскочила на сухонькие лапки:

— Все, пора мне. Отдохну в кои-то веки. Заслужила, как думаешь?

— А я? Как же я? Куда мне с этим? Что мне делать?!

Птица посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, и впервые в ее глазах проскользнуло что-то, похожее на иронию. Ответ был краток и беспощаден:

— Нести.

ДЕВОЧКА

Я несла камень, укрыв его в колыбели рук. Каждый мой шаг был преодолением, руки наливались свинцовой тяжестью, но страшнее всего было ощущение, что камень за мной наблюдает. Даже мысль о таком ввергала меня в ужас. Ценой огромных усилий я переставляла ноги и старалась сосредоточиться только на том, чтобы руки не разжались. Нисколько не сомневаюсь, что поднять камень вторично, более того, просто к нему прикоснуться я уже не смогла бы.

Ощущение пристального взгляда не покидало меня. Я остановилась, против воли наклонилась и посмотрела на свою ношу. От увиденного меня снова начало трясти: камень, до этого бывший совершенно обычным, начал изменяться. По его поверхности пробегала рябь, контуры текли, и на моих глазах прежде овальный предмет обретал четыре конечности и непропорционально большую голову. Вслед за этим на маленьком лице прорисовались и углубились глазницы, выпятился курносый нос. Крошечный рот округлился для крика, личико исказилось в знакомой всем матерям гримаске, но не последовало ни звука. Я в ужасе наблюдала эти стремительные метаморфозы, уже понимая, что пришло время ответов.

Да, это была она, девочка, случайная, незванная, едва зародившаяся и преданная мной в один из дней, когда впервые сократилось ее крошечное сердце. Можно много говорить о том, что зародыш на ранней стадии развития не является полноценным человеческим существом и представляет собой всего лишь скопление делящихся клеток, но я не врала себе даже тогда. Теперь тем более не было никакого смысла обманываться — правда лежала на моих руках: каменная, жгучая, живая. Голая — и у меня не было ни единого лоскутка оправданий, чтобы завернуть ее, спрятать, укрыть в ворохе обычных дел и слов, свойственных суетливой жизни.

Она была голодна, но я не знала, чем насытить ее в мире, где телесное стало всего лишь воспоминанием. Во мне не было для нее молока, как прежде не было любви — одна лишь тяжкая горечь там, где когда-то билось сердце. Но она ждала, она требовала, она имела право! Я села на дорогу и, несмотря на сильнейшую боль, прижала к себе отвергнутого ребенка и запела почти забытую колыбельную, покачивая каменное тельце на руках.

Возможно, прошла вечность, возможно, одна секунда. Это не имело значения — время ничего уже не могло ни изменить, ни вылечить. Я пела, плакала, потом говорила: много, честно, обо всем. О черном гневе, затопившем меня, когда я узнала, что она уже существует вопреки моему желанию и растет, разворачивая свою вселенную в моем личном космосе.

О красной лихорадочной злости на себя, на нелепый случай, на чью-то волю, которую я отказывалась признать выше собственной. О мертвенно-белом, под стать стенам предоперационной, ужасе ожидания, о слабой надежде на то, что вот сейчас придет он, большой и сильный, и схватит в охапку, и пробормочет в макушку: «Глупая, зачем ты здесь, пойдем домой, у нас все будет хорошо...», тлевшей во мне до момента открытия страшной двери, ведущей в личный ад. Нет, я не пыталась найти себе оправдание или хотя бы объясниться. Я насыщала ее словом — темным, больным, горчайшим словом, поскольку больше ничего за душой у меня не было.

Она уже не заходила в беззвучном крике и не корчилась, отталкиваясь от меня тощими ножками. Она внимательно слушала, а глаза смотрели неотрывно и строго. Чуть позже она засунула в рот большой палец и сразу уснула. Как ни странно, тело ее во сне стало намного легче, или, возможно, я притерпелась к ноше, но пока она спала, идти мне было гораздо легче.

Я шла, опустошенная, потрясенная, вывернутая наизнанку, а мир вокруг меня менялся и светлел. Низкое небо все чаще разрывалось солнечными просветами, ветер потеплел. В тусклой пыли обочин стала пробиваться редкая чахлая травка, и несколько раз мне показалось, что я слышу птичий щебет.

Девочка проснулась и завозилась, толкая меня горячей ладонью. Я нашла на обочине пяточок травы, уложила ребенка и села рядом. Малышка лежала на спине, играла пальчиками и складывала губы в гримаску, характерную для гуления, но ее голосовые связки не производили ни звука.

Она очень сильно подросла за дорогу и выглядела сейчас упитанным младенцем трех-четырёх месяцев от роду. Камень, из которого состояло ее тело, пошел мелкими трещинками, местами сильно крошился, отслаиваясь и открывая участки с нормальной кожей.

Я кинулась было оттирать их в надежде очистить все тело, но девочка недовольно сморщилась и оттолкнула мои руки. Тогда я легла рядом с ней и начала говорить, поглаживая ее по шершавой горячей спинке. Рассказывала сказки и забавные стишки, от которых когда-то смеялись мои дети. Она затихла, играя в задумчивости моими волосами, и только взгляд ее был по-прежнему отстраненным.

Потом я уснула рядом с ней — впервые с того времени, как ушла от Мельника на свою дорогу — и была разбужена негромким звуком, похожим на конское

фырканье. Чье-то теплое дыхание, отдающее сыром и молодым вином, коснулось моего лица. Я открыла глаза и вздрогнула от неожиданности. Возле меня маячила физиономия рыжебородого детины — веселые зеленые глаза, широченная улыбка, открывающая крепкие зубы. Кудрявая голова переходила в мощную шею, широкие плечи и торс впечатляли рельефной мускулатурой. Он был хорош необузданной красотой неутомимого молодого животного — собственно, наполовину он и являлся животным. Передо мной был...

— Кентавр я, кентавр! — он загарцевал на месте, демонстрируя свое великолепное тело. Жизненная сила переполняла его, буквально сыпалась искрами с лоснящейся каурой шкуры.

Я невольно залюбовалась им, но, вспомнив о ребенке, сложила ладони в умоляющем жесте:

— Тише, тише! Разбудишь!

Он застыл на месте, только рыжий хвост по инерции еще продолжал резкие взмахи.

— О! Прости, забыл... Твой, что ли, ребенок-то? Ох ты-ы... Да он у тебя из выброшенных, похоже... Эх, человеки вы бестолковые... Ну, теперь-то наверняка доносишь, куда денешься. Помощь нужна какая?

— Да вроде справляюсь, спасибо... Разве вот что, молчит она — ни звука не слышала. Вдруг немая?

— Не, — Кентавр нетерпеливо переступил передними ногами, — не немая, а безгласная. Ты же у нее сама право голоса отняла, чему удивляться? Сейчас питай да молись, чтоб дозрела. Как дозреет — скажет.

— А что скажет, что?!

— А вот что скажет, то и сделай. Тогда, глядишь, и отпустит. Вина хочешь? — он так резко сменил тему, что я не сразу поняла, о чем речь.

Я помотала головой, отчего-то вспомнив травяной чай Мельника. Кентавр, словно прочитав мои мысли, тут же высветил в улыбке широкие белые зубы:

— Да ты не бойсь, я за светом не охочусь, тут и так вон пройди еще чуток, и хоть залейся его будет! Я ж только ради тебя предложил: бледная ты какая-то, замученная. Тебя б чуток подкормить да выгулять — ого-го какая кобылка выйдет!.. А то, может, со мной в луга уйдешь? Ребенок не помеха, — он так поспешно повернул эту расхожую фразу, что я не удержалась от смеха.

— Ну ладно те, хорош ржать! Дура ты, счастья своего не понимаешь! Думаешь, много кому такое предлагаю? — он сердито фыркнул и топнул копытом. Только сейчас я поняла, насколько же он молод.

— Спасибо, это... здорово, конечно, но мне нужно о ребенке думать. Да и ждут меня...

— Ждут, как же! Ох, ну и глупая же ты! Я ж тебе свободу предлагаю, свободу, а ты в зависимость лезешь... Ай, ладно, на нет и суда нет! — он уже улыбался, ярая сила бурлила в нем, переполняя каждую клетку молодого крепкого тела. Глядя на него, невозможно было не залюбоваться этим живым олицетворением чувственной красоты.

— Прощай, милая, я буду любить тебя вечно-о-о!! — с этими словами он рванул по дороге, поднимая копытами клубы пыли.

Чихая и кашляя, я помахала ему вслед и вернулась к девочке. Она уверенно сидела на пяточке травы и щипала уже очистившимися пальчиками квелую придорожную поросль. При моем приближении малышка подняла голову, посмотрела на меня, и слабое подобие улыбки скользнуло по ее серьезному личику. Во мне поднялась волна тепла, подступила к горлу и накрыла с головой. Я упала на колени возле дочери, целовала ее розовые ладошки и заскорузлые, не созревшие еще

пяточки и плакала, плакала долго и тяжело, вплоть до полного опустошения всех душевных каверн и гнойников.

О ЛЮБВИ И НЕЛЮБВИ

Эти мысли мелки, как камешек, попавший в сандалию римского легионера. Казалось бы, плевое дело избавиться от докуки — остановись на секунду, встряхни и топай дальше налегке. Однако не тут-то было. Как когорта, идущая маршем по враждебной территории, не терпит остановок вне регламента, и поэтому незначительный камешек имеет все шансы очень скоро сравняться по величине проблемы с валуном многострадального Сизифа, так и мысль, которая не желает укладываться в формат удобных разношенных смыслов, обречена выпирать и провоцировать душевное беспокойство.

Когда постигаешь суть, неизбежно теряется ощущение чуда. «Во многих мудрости — многие печали», но я вряд ли скажу что-то новое, так что не умножу скорби. В любом случае это тоже способ заполнять бесконечную пустоту.

Вот что из себя представляет это тягостное желание разделить себя, отдаться другому, как не химическую реакцию, в основе которой лежит могучий инстинкт продолжения рода?

Заметь, все известные примеры «великой любви», ставшие легендами и тем самым победившие время, основаны на банальной неудаче. Помешали внешние обстоятельства, повлияли условности, встали непреодолимой стеной жестоковыйные родственники или же сами любовники при зрелом размышлении утратили перспективу пошлого уютного счастья и предпочли страдать в добровольной разлуке. А сложись все благополучно, утоли влюбленные неистовый пыл, обзаведись кучей обязательств и детишек мал мала меньше, кому бы они были интересны хотя бы через год? Хорошо, если самим себе.

Но как же душа, спросишь ты — и будешь прав. Без нее никак. Достаточно лишь раз осознать в себе эту беспокойную птицу, которой мало даже неба, и уже никогда не сможешь жить, глядя в землю. Не потому ли, что яростные желания молодости входят в противоречие с потребностями недавно проснувшейся души, первая любовь настолько отчаянна и болезненна даже при полной взаимности? Ведь она, душа, тоже жаждет, ищет, тянется — но к состоянию иного плана, которое не может быть описано доступным человеку языком.

Мы — жалкие слепцы, несчастные скрюченные гомункулы, заключенные в колбах недолговечных тел. Искажения неизбежны.

Нуждаемся в свете — но даже устройство для его извлечения называем выключателем. Рвемся к теплу — и закрываемся друг от друга панцирями ледяных слов. Ищем нежности — и отталкиваем руку, протянутую для ласки. Но малая часть живительного чувства все же просачивается через нечистый песок нашей жизни, и даже этой малости довольно, чтобы сохраниться, не засохнуть, не застыть на дне обшарпанного сосуда трупиком, скукоженным в форме знака вопроса.

Я надеюсь... Уже понимаю, но не могу не надеяться на нашу встречу, хотя почти не помню тебя. Ты был так давно, что стал идеей. Ты сейчас значительно больше слов, которыми я пытаюсь тебя возродить, но куда меньше смыслов, которые стараюсь вложить в эти слова. Только вот если я потеряю и эту малость, меня тоже не станет. Одиночество способно оградить от лишней боли, но только через боль возможен рост. Я помню. Я ищу. Я иду.

...Кожа малышки очистилась полностью, внешняя скованность ушла, но отстраненность между нами осталась.

Девочка научилась ходить и теперь большую часть путешествия идет сама, иногда вкладывая пухлую ладошку в мою руку. Поскольку дорога ни разу не разветвлялась за все время общего пути, нельзя сказать, что я ведущая в нашем маленьком отряде. Мне больше не приходится выбирать. Мы обе — всего лишь части дороги, объединенные общей целью. Я ее не знаю, но подозреваю, что ребенку известно много больше моего. Думаю, скоро что-то прояснится и для меня. Мир продолжает меняться, приобретает цвет и объем, наполняется упругим ветром и запахами степи, поэтому я позволяю себе верить, что мы на верном пути. Дорога покажет. Пока же все, что я могу, — быть рядом с дочерью до тех пор, пока я нужна ей.

О ПАМЯТИ

...Память обо мне — «кошачья колыбелька»: ворсинки, ниточки, разноцветные переплетения, а в середине пустота...

...На нечастых наших привалах я незаметно наблюдаю за малышкой. Я могу делать это и явно, она не обращает на меня внимания, но мне все равно не хочется нарушать хрустальный покой ее мира своим любопытством. Во время последнего отдыха кое-что случилось.

Девочка увлеченно рисовала, сидя в придорожной пыли. Уверенными отрывистыми линиями она продавливала в земле контур рисунка. Линии уплотнялись, и фигура, заключенная между ними, на глазах обретала объем. Последний летящий штрих — и вот из песка, встрепенувшись всем телом, вырвался крошечный дракончик. Взъерошив яркий головной гребень и распахнув крылья, он издал резкий крик и резво взмыл в воздух, после чего, сделав круг над нами, растворился в бездонном небе, в которое мы обе уставились, запрокинув головы. Да, у меня уже есть небо, — вернее, я достигла того состояния, когда смогла его принять.

Если можешь, вспоминай меня.
Пожалуйста.

ПРОБЫ

Где-то поблизости копошатся и попискивают мелкие зверьки, неподалеку в серебристых волнах ковыля бродят, фыркая и чихая, несколько пушистых хвостатых тварей. Мир наполняется новой жизнью.

Не перечить, сколько было выпущено в небо птиц, драконов и другой крылатой живности. Девочка рисует, как одержимая, раз от разу достигая все больших высот, но, по моим ощущениям, пока что не может получить нечто остро необходимое и известное только ей. Созданные ею звери вскоре обращаются в пыль, и это печалит юную создательницу. Похоже, она ищет именно то, что сможет зафиксировать их непрочную структуру.

Девочка все так же молчит, но незримая нить между нами иногда натягивается и звенит, и в такие моменты я слышу ее без слов. Было бы самоуверенно заявлять, что ребенок нуждается во мне, но, когда она, вот как сейчас, прижимается к моему боку сильно вытянувшимся угловатым телом, мне хочется верить, что это не просто потребность ощущать рядом хоть кого-то.

Даже сейчас, уже осознав и факт перехода, и место обитания, и свою нынешнюю природу, я не могу не изумляться той легкости, с которой она создает из праха свои химеры.

Несколько раз я видела, как она, отбросив стебель, водила над дорожной пылью пальцем, и та, покорно следуя за ее движениями, собиралась, уплотнялась, приобретала форму, чтобы в следующее мгновение взлететь, прыгнуть, побежать. Живность, выходящая из-под ее руки, не проявляет любопытства, не ищет внимания и не нуждается в заботе — я поняла это после первых неудачных попыток приручить кого-нибудь из них.

В них отсутствует нечто важное, чему я почти готова дать имя, — но не знаю, как объяснить это дочери. Я не могу просить ее полюбить их — ведь именно любви она была лишена изначально. Поэтому я молча сижу под звездным небом, слушаю песни ковыля, изредка перекрываемые сопением и писканиями обреченных химер. Сижу, зная, что почти взрослая дочь лежит рядом и смотрит широко раскрытыми глазами то ли в бездонную ночь, то ли в только ей ведомое будущее. Это все, что есть у меня. Это очень много. Это целый мир.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Это письмо будет последним. Нет нужды его писать, я так близко от тебя, что достаточно только протянуть руку, и... Я сделаю это, конечно. Но позже. Сейчас хочу успокоиться, собраться с мыслями, услышать самое себя — а лучшего способа, чем исповедь листу бумаги, не найти. Я всегда писала такие письма, всю свою жизнь — писала, а потом отправляла в никуда, сложив в кривокрылый «самолетик».

Здравствуй.

Говорят, существует память воды. Сколь бы мала ни была капля, она помнит себя океаном. Я думаю, что память имеет всякая общность. На какое количество обломков мы бы не раздробили свою галактику, каждый из них помнит себя в составе целого. Даже перетертые в песок жерновами быта, они продолжают сохранять в себе смысл общего существования. Во мне так мало веры в тебя, но я все же рискну не оглядываться назад. Пан прав хотя бы в одном: первое, что я сделала, обретя себя в новом мире, это написала письмо. Письмо тебе. Тебе, но для себя — себя нынешней: уставшей, разочарованной, утратившей смыслы.

Полностью обнулившись, самое время попробовать все сначала.

Я скажу, что сейчас будет. Очень скоро я закончу письмо, сложу его, не изменяя традиции, подойду к окну, в чьи стекла время от времени стучится цветущая ветка персика, распахну сияющие створки и, размахнувшись, запущу «самолетик» в бесконечное лазурное небо. Он сделает большой неспешный круг и улетит во внутренний дворик, где царит полуденное солнце. В центре дворика растет дерево, под которым стоит тонконогая стеклянная столешница. Ты будешь сидеть там, я знаю.

Жди меня. Мне осталось так мало: тридцать два шага вниз по витой лестнице, сорок девять, чтобы пересечь гостиную, двадцать один — по песочной плитке холла, и дробь бегущих шагов, которые некогда считать, по горячим к полудню листованным доскам открытой веранды. Мне может понадобиться вечность, чтобы сделать первый шаг, но ты жди меня, пожалуйста.

Я подойду — босиком, неслышно — и закрою ладошками твои глаза. Больше никто и никогда не делал этого так легко — твои слова, помнишь?

Так и будет, любимый.

Он сидел во внутреннем двореке. Теплый свет мягко обтекал его фигуру и облекал в подобие плаща. Стеклянная столешница, вознесенная на тонкой ноге над терракотовой плиткой, казалась парящей в воздухе. Разморенный полуденный ветерок лениво приподнимал за кончики листы бумаги, чью белизну испещряли угловатые, сильно наклоненные вправо буквы. Письма — а это были именно они — возвращались к началу любого начертания. Буквы бледнели, таяли, не оставляя после себя и следа.

Он взял в руки лист, освободившийся первым, и в несколько движений поверх прежде проложенных линий сложил оригами — тонкокловую порывистую птицу. Потом устроил ее на широкой ладони и слегка подтолкнул вверх. Птица качнулась, дернула шейкой, повела острой хохлатой головкой и посмотрела на меня искоса лукавым смородиновым глазом. Потом оттолкнулась лапками от его руки и взмыла ввысь, трепеща радужными крыльями. Прежде чем раствориться в бездонной лазури, она неоднократно сменила окраску и размер, словно не могла определиться, в какой же форме остаться.

— Кого-то мне напоминает эта птица... — голос его звучал глуше и несколько ниже, чем помнилось мне, но улыбка была все той же: озаряющей лицо, открытой, всегда любимой мною. Я смотрела на него, не отрываясь.

Лицо его текло, меняя очертания, — так прибрежный песок от волны к волне обновляет внешний свой рисунок, не изменяя сути. Мне было радостно узнавать его в каждой явленной ипостаси, хотя теперь это было не важно — ведь я уже вспомнила все, что было прежде образа. Наконец игра наскутила ему, он провел по лицу ладонью, точно хотел снять тончайшие паутинные нити, и снова улыбнулся — позвал. Я подошла к нему вплотную, поцеловала нежным приветственным поцелуем, и...

Появилась из ниоткуда — просто вышагнула из утреннего молочного тумана метрах в девяти перед его машиной. Так безоглядно выходят навстречу любимому или судьбе. Водитель резко ударил по тормозам, но было поздно: дождь накануне, первые ноябрьские заморозки, тонкая пленка гололеда... Машина летела неуправляемым снарядом, мир вращался, сливаясь в серое размазанное пятно, но каким-то непостижимым образом он видел ее лицо: широко распахнутые глаза, в которых не было страха, прикушенная нижняя губа, длинные волосы, взметенные в стороны мощным потоком воздуха, и...

Птицы щебетали, кружились над нами и рассаживались на тонких ветках персикового дерева, которое, источая головокружительный аромат, лелеяло бутоны, цвело и плодоносило одновременно.

Мы стояли под ним лицом к лицу, тесно прижимаясь друг к другу. Прислушиваясь к себе, я пыталась понять, что ощущаю сейчас, но возможность чувствовать ярко давно покинула меня. Пожалуй, осталось только одно из еще доступных мне состояний — покой, ощущение завершенности и правильности происходящего.

Он отвел в сторону прядь моих волос и прошептал слегка охрипшим голосом:

— Как же я соскучился... Только сейчас понял, насколько устал без тебя... Ждал тебя, всегда ждал, но уже стал опасаться, что ты не придешь.

— Почему... опасался? — пробормотала я, уткнувшись в его шею. От него пахло почти забытым мною запахом, родным, узнаваемым. Он обволакивал меня, погружал в теплый кокон уюта, и мне не хотелось упускать это мгновение.

— Ну, как почему? Я же получил и прочитал все твои письма. Вот... Потому...

— Получил... Это хорошо, что получил. А почему ты не писал мне? Знаешь, как я ждала хотя бы малюсенькой записочки с банальным «Привет!»?

Невыговоренная обίδα проснулась, завихрилась черными водоворотами, во-влекая в воронки мелкий сор давно, казалось бы, развеванных воспоминаний.

— Ты хоть представляешь, каково мне было идти, не зная ни дороги, ни цели? Я ведь почти не дошла — ты знаешь об этом, знаешь?!

— Тш-ш-ш... Погоди бушевать. Я писал тебе. Но ты не могла, не была готова меня услышать. Разные уровни опыта, понимаешь? Мы говорили на разных языках — точнее, язык, как всегда, был один, но различались, скажем так, уровни его понимания. Мои письма приходили к тебе, но не доходили до тебя. Чистые листы в книге — помнишь? Ты писала свои письма поверх моих. Согласись, в этом есть изрядная доля иронии. Представь, каково мне было расшифровывать твой жуткий почерк, наложенный поверх моих каракулей?

Голос его звучал мягко, но слова доходили до меня словно через слой ваты. Я настолько свыклась с ролью жертвы, что не готова была с ходу принять услышанное. Ощувив это, он прижал меня еще крепче и побаюкал в объятиях.

— Устала? Все, все уже закончилось... Ну, или же только начинается, это уж как ты решишь, душа моя.

— Что — «начинается»? Не понимаю, о чем ты...

— Все. Все, что захочешь. Ограничений нет. Только твоя воля и желание — а я пойду с тобой куда угодно.

Все это время мы говорили, прижимаясь друг другу, чтобы не нарушать близость, хрупкую, как первый лед на ноябрьских лужах.

Он улыбнулся и провел ладонью по моей щеке. Пальцы его выглядели полупрозрачными, но я хорошо ощущала прикосновения — возможно, благодаря свету, который окружал по контуру не только его руки, но и все тело. Притянув его ладони к себе, я зажмурилась и зарылась в них лицом. Спряталась. Свет ласкал и согревал, просачиваясь сквозь закрытые веки.

— Мне так стыдно. Я в своем отрицании до того дошла, что уравнивала тебя с теми, низовыми... Мне хотелось тебя унижить, хотелось, чтобы тебе болело не меньше моего. Вот же дура. Ведь тебе болело еще больше. Ты прошел свою дорогу — и я не знаю, чего она тебе стоила. Прошел и встал рядом, чтобы разделить мою. Ты в каждую минуту моей слабости был у меня за спиной, а я...

Поток сумбурных покаяний прервал его короткий смешок:

— Помнишь это: «Солнце мое, взгляни на меня...» М-м? — Он шевельнул пальцами, и я раскрыла ладони, отпуская его руки.

Теперь он весь светился — ровно и мощно, но не ослепляя. Яркий свет почти растворил черты его лица, да и тело узнавалось только по контурам.

— Да сам ты... солнце! — меня затопила такая чистая радость, что я не удержалась от счастливого смеха. — Ты себя видел? Ты же светишься весь! На руки, на руки посмотри!

Он обнял меня и прижал к себе.

— Душа моя, мне нет нужды смотреть на свои руки. Я хорошо вижу твои. И не только руки — всю тебя вижу. Ты такая красивая. Ну, теперь-то понимаешь, что все только начинается?

Я замороженно смотрела на свои ладони. На кончиках растопыренных пальцев свет распускался бутонами невиданных цветов.

— Да, теперь понимаю! Мы не сможем здесь остаться, так? — И сама себе ответила: — Конечно, не сможем. Зачем? Правда же, зачем нам оставаться, нам тесно здесь будет. Мы можем идти дальше! Вместе, да?

Встав за спиной, он заключил меня в уютное кольцо рук, тепло подышал в волосы на затылке и прошептал:

— Именно. Только вместе. По-другому — незачем. Смотри, что сейчас будет. Ну-ка: и раз, и два, и...

Выскочил из машины и побежал — назад: к скомканной, нелепой фигурке, лежащей в паре десятков метров от машины.

В глазах темнело, сердце глухо бухало в горле. Она лежала ничком, на правом боку, лицо ее было прикрыто широким капюшоном серого плаща. Он упал на колени в подмерзшую грязь и приподнял капюшон, отстраненно отметив, что руки бьют крупная дрожь. Немолода, длинные седые пряди, выбившиеся из пучка, широко открытые глаза... И полная неподвижность черт, отсутствие мысли — пустота сосуда, не оставляющая надежды.

«Твою ж мать... Бухая, что ли? Вот оно мне надо, а? Ну откуда ее вынесло, дуру старую?!» Разом отяжелевший, с трудом поднялся, вытащил из кармана пальто плоский черный телефон, набил на клавиатуре негнушимся пальцем цифры, поднес аппарат к уху, откашлялся и...

Плавню взмахнул правой рукой, левой продолжая прижимать меня к себе. Птицы разом вспорхнули и неподвижно застыли в воздухе, после, повинувшись движению его пальца, изобразившего воронку, закружились во все ускоряющемся вихре, вовлекаящем в себя сначала мелкие предметы, а потом — все более крупные: рыже-коричневую плитку, столешницу, персиковое дерево, дом, почву, воздух, небо и саму память о вещном... Мир осыпался, теряя границы, цвета, запахи, смыслы и состояния, названия и начертания, предназначения и чувства, но в этом не было страха и боли. В этом была одна только красота начала.

Когда пришла тьма, — полная, всеобъемлющая, — я утратила последние ориентиры. Не осталось больше ничего, за что мог бы уцепиться паникующий разум, вопящий об одном: сохраниться, выстоять, огородить заново кусочек своего никчемного «я» и возвести за хлипким забором очередную успокоительную иллюзию. Но пришел конец всему, что можно было себе вообразить, — и только с ним пришла настоящая свобода. Мир сжался до размеров микроскопической точки, поставленной уверенной рукой.

Он сказал:

— Твое слово...

И...

В той аварии он приложился головой, но мог поклясться, что раскрывшиеся за секунду до столкновения черные крылья за ее спиной не были галлюцинацией. Однако он не говорил об этом даже жене, она и без того плохо спала все долгие месяцы, пока шло судебное разбирательство. В итоге обвинения с него сняли, поскольку выводы судмедэкспертизы сошлись на том, что причиной смерти потерпевшей стал обширный инфаркт. Видимо, она шагнула на дорогу уже в агонии, не осознавая своих действий.

Он многое бы отдал, чтобы не вспоминать о случившемся, но не было еще такой ночи в эти два прошедших со дня аварии года, когда бы она не приснилась ему. И всякий раз, глядя в юное открытое лицо, он со сладким ужасом ждал, когда медленные крылья распахнутся за ее спиной во весь размах, и...

— Будем как боги.

